

Дикоросль

Тексты, собранные здесь, писались в Живом Журнале автора по адресу <<http://yettergart.livejournal.com/>> и относятся к 2008 году. Сюда выкладываются с некоторой минимальной правкой и доработкой.

Учиться беззащитности

Поверхностное, принимая на себя удар мира, оберегает глубокое в нас.

Нужно учиться беззащитности. Нужно уметь слой за слоем снимать оберегающие слои, не позволяющие миру язвить нас. Нужно не убегать от уязвляющего, но идти ему навстречу. Превратиться всей поверхностью, незаметно переходящей в глубину, в один сплошной видящий глаз.

* * *

Праздник освобождения от праздника

А ещё бывает праздник освобождения от праздника.

Система ритуалов (лучше всего — если именно система и именно ритуалов: чтобы работало, как механизм, «само») выхода из праздничного состояния, чем бы это последнее ни оказывалось: если сразу выпасть из него, перепад напряжений оказывается чересчур болезненным. Причём к Новому году, с его бесосновательным нагнетанием радости, это особенно: будни после него, сияющего, золотистого, полного самых безудержных обещаний за-просто-так, особенно черны, даже тогда, когда в них вообще-то нет ничего чёрного. Новый год, пройдя, обостряет восприимчивость к черноте; за ним тянется полоса отлива времени.

Как тут помогают условности работы, Господи Боже!

Праздник создаёт напряжение, после которого едва ли не с радостным изумлением обнаруживаешь, что всё на своих местах, что все вещи, оставленные за пределами праздника, терпеливо и верно ждали тебя за этими пределами и готовы тебя принять, будто и никакого праздника не случилось.

Работа — сама себе ритуал, независимо от целей, которые она преследует. Именно в таких ситуациях — выхода из праздника, например, — вполне достойных названия пограничных, она обнаруживает свой ритуальный характер. Подхватывая выпавшего из праздника человека, она вставляет его в механизм, который почти целиком берёт на себя усилия по организации движения. Она — рельсы, по которым катишься и о которых, что едва ли не самое важное, можешь уверенно надеяться, что они уж точно ведут тебя к какой-то цели. Пусть даже эта цель — всего-навсего выход в свет очередного печатного издания, о котором все благополучно забудут едва ли не сразу же по его выходе.

И вообще, работа — один из простейших механизмов (физически ощутимой!) переработки хаоса в космос. (Ещё один — быт: у него мощнейший космизирующий потенциал.)

Работа — сколько бы ни требовала усилий — отдых от всего, что не она.

* * *

О неисполнении желаний

Тоже разновидность аскезы: умение обойтись без того, чего — по каким бы то ни было причинам — очень-очень хочется (разумею вещи нефизиологические — не насущные, — понятное дело). Это своего рода задачка на выживание: мобилизовать свои человеческие, эмоциональные, смысловые ресурсы, чтобы достичь полноты и подлинности жизни (а хочется ведь в конечном счёте именно этого!) не теми средствами, которые, в слепоте нашей, мнятся нам для этого единственно подходящими, а другими. Это в своём роде упражнение в универсальности (неотделимое от упражнений в неуниверсальности и даже — обратная их сторона: умение выжать смысловой максимум из своей заведомо ограниченной ситуации), в умении выходить за пределы собственных проектов — в умении жить вопреки невозможностям.

Поэтому, разумеется, мало что выращивает нас так, как неисполнение желаний: оно заставляет нас, ленивых-нелюбопытных, обратиться к изысканию и востребованию смысловых и витальных ресурсов в себе и в мире.

О потребности в бездействии

Бездействие — разновидность молчания: возможность расслышать мир, впустить его в себя, не подминать его под свой узкий проект, а дать ему самому высказаться. Бездействие — размыкание собственных границ. И разновидность смирения, да. Всё-время-работающий (это такой цельный смысловой комплекс, потому и пишется через чёрточку, в знак сращенности его компонентов в некоторую вязкую труднорасторжимость) гложет, причём на нескольких уровнях сразу: у него слабеет не только сознательная восприимчивость ко всему, что не попадает в русло работы, но и сама интуиция, созданная специально для того, чтобы в неё входили разные неожиданные вещи. Эдакая дверь чёрного хода — вот у всё-время-работающего она заколачивается.

Всё-время-работающий вынужден поэтому превращать работу из защиты — в чувствилище, из непрошибаемого панциря — в чуткие усики для осязания мира.

И, наконец: может быть, заполняющая всё время и пространство, агрессивно-экспансивная работа для того и придумана, чтобы мы ощутили, наконец, её недостаточность. Это удел всего избыточного: надо раздуть нечто до беспредельности, чтобы увидеть, насколько оно нуждается в пределах.

Да, конечно, работа, опыт направленных самоограничений — подставленные ладошки, в которые сам собой стекает мёд мира. (Таковыми ладошками может, собственно, быть любое действие, только, мнится мне, в работе пальцы теснее сомкнуты — цепче удерживают собираемое.) Да, много его в ладони не соберёшь, но больше-то собрать его и не во что.

Отдельный вопрос: надо ли собирать? Не адекватнее ли, то есть, дать и мёду и горечи мира обтекать нас, растворяя нас в себе, делая нас своей частью?

С другой стороны, работа — своего рода соблазн. Своей видимой и даже не только видимой, а во многих отношениях вполне реальной принадлежностью к совершенно замечательным вещам — конструктивности, осмысленности, интенсификации жизни и космизации подручного хаоса — она способна увести — и уводит — человека от вещей и того более важных.

Оно, конечно, нечего на работу пенять, коли рожа крива: никакая тропинка никуда нас не уведёт, если мы не пойдём по ней сами. Степень формального принуждения тут тоже не стоило бы преувеличивать.

Понятно, что работа, глубоко инструментальная по природе вещь, так и норовит инструментализировать человека, редуцировать его до некоторой частичности, свести к тому, что умещается в работу, а всё прочее оставить иссыхать за ненадобностью. С другой стороны, ни один человеческий инструмент — похоже, действительно ни один — не сводится и никогда не сведётся к голой инструментальности. Всякий отбрасывает «метафизическую тень», всякий, кроме достижения своей непосредственной цели, непременно делает с человеком что-то ещё: оформляет его, обостряет или притупляет какие-то аспекты его восприимчивости — словом, настраивает его отношения с миром и самим собой в целом. Всякий производит массу «побочных продуктов», которые по объёму, а то и по значению запросто способны превосходить «прямой» его результат.

Человека оформляет и воспитывает любая работа, даже если он просто забивает гвозди молотком. О более сложной и не говорю.

* * *

Оправдание беспорядка

С этим всё очень просто: беспорядок, овладевая нами, позволяет — о, по собственному произволу; он на то и задуман, чтобы обесмысливать наши усилия по контролю-всего-на-свете, — найти неожиданное: в себе, в мире, в связях между предметами мира, в собственных мыслях... такое, словом, чего бы мы сознательными усилиями и на привычных путях никогда не увидели. Просто не заметили бы. Беспорядок изобретён нарочно для того, чтобы сбивать нас с толку.

Конечно, за это приходится платить (валюта — стандартная и устойчивая: запущенная жизнь, хроническое не-успевание-ничего, чувство собственной второсортности и прочие, хорошо освоенные и даже уютно обжитые вещи этого рода. Комфортная травматичность. Такая, без которой настолько непривычно, что даже и неприятно). Но отчего же не заплатить за ценное? Иначе оно потеряет всю ценность.

* * *

Отрывок из рассуждения, произнесённого в другом месте

Вообще, очень ценно всё, что запускает в нас смысловые процессы, — чем бы оно ни было само по себе.

* * *

Всё в жизни — лишь средство

Может быть, любовь — только повод для внимания к миру, «всего лишь» одна из наиболее концентрированных, интенсивных форм (не самая ли?) такого внимания. (А вообще не к тому она повод, — шепчет кто-то утешающий за левым плечом, — чтобы детей рожать да и воспитывать их. — Ага, согласилась бы, если бы не чувствовала — если бы не была даже уверена! — что рождение и выращивание детей — тоже ещё какая форма внимания к миру: более того, одна из самых адекватных.)

* * *

О медленности

Лучше всего те занятия и процессы, которые можно смаковать. Которые принципиально поддаются выполнению в медленном, вчувствующемся-в-каждую-деталь режиме и, более того, требуют его. Те, которые, будучи выполнены быстро — пусть даже с достижением замечательного результата, — теряют всякий смысл и обречены разочаровывать. Занятия, в каждом из которых можно жить, как в большом доме, терпеливо обживая каждое их новооткрывающееся пространство. Занятия-мембраны, посредством которых мы чувствуем мир.

* * *

На вырост

Когда мы стареем, в нас происходят чудесные превращения. От того, что они, допустим, неприятны нам, уязвляют наше самолюбие или, скажем, ведут наше тело к уничтожению, ни чуда, ни тайны в них меньше не становится. Как выразилась одна собеседница В. В. Библихина — а я вычитала давным-давно в одной из его книг да с тех пор и помню, — «а то, что всё происходит по законам природы, — разве не чудо?»

Можно подумать и так, что, может быть, весь мир, со всеми его подробностями, — это речь Бога к нам, развёрнутое Его высказывание, а мы всеми собой на это отвечаем (будучи таким образом, добавлю сейчас, тоже развёрнутым высказыванием). Так вот, очень возможно, Он говорит с нами ещё и изменениями нашего тела и обитающей в нём души — и это одно их самых внятных Его высказываний, прямо-таки в лоб. *Этим* Он говорит для совсем уж непонятливых и невнимательных.

К этому, конечно, стоит добавить ещё и то, что сказанное так, по всей вероятности, устроено, что сразу и целиком мы его не поймём: оно просто очень велико, даже когда выражено языком нашего собственного тела и таким образом максимально к нам приближено. Но зато оно дано нам на вырост. И рост — сам по себе уже способ чтения.

* * *

Об излечении формой

Придумала термин для внутреннего употребления: *морфотерапия* — преодоление душевного хаоса приданием формы чему бы то ни было аморфному или обладающему менее совершенной формой, чем хотелось бы видеть. У меня в качестве «морфотерапевтического» занятия очень хорошо работает редактирование — даже лучше собственного писания, за исключением разве тех редких случаев, когда оно вдруг само хорошо складывается: в собственном хаотическом элементе больше, по крайней мере он какой-то более убедительный. Что может быть убедительнее родимого хаоса? Душа-дурёха пластична более, чем сама об этом подозревает, и с лёгкостью принимает форму того образца, который ей предложишь, особенно ежели умеючи предложить.

* * *

О своём и чужом

Сижу и проматываю, проматываю свою жизнь, читая чужие. Символическим присвоением занимаюсь. Впихиваю в себя чужую жизнь, которую всё равно ведь как следует не проживу, обречена даже не по верхам хватать — это уже было бы много — а только вообразать её. И это вместо того,

чтобы свою устраивать: спать пойти, например; если не пойду и не засну, завтра ведь день не получится. Устраивать то, за что у меня *точно* есть ответственность, а не пихать в себя то, что проживёт и без меня, за что у меня никакой ответственности нет, не может быть и никогда не будет. И нечего морочить себе голову на ту тему, что-де чужого ничего нет и что жизнь безгранична, что «всё» может, дескать, к нам относиться. Фигушки. Критерий «своего» и «чужого» очень простой: «своё» — это то, что входит в зону моей ответственности, за что я реально могу (а то и должна) отвечать, хотя бы перед самой собой, и ради чего с известной степенью эффективности могу прикладывать усилия. Вот и всё.

* * *

Не предавайся сну

Чувствуется некоторый несомненный смысл в том, чтобы нарочно изматывать себя упорным бодрствованием — истончая ткань сознания, продирая дыры в ней, доводя себя до в своём роде изменённого состояния этого самого сознания — добиваясь чего-то подобного тому, чего обычно добиваются модифицирующими средствами типа алкоголя. Дырявое, сквозяще-прозрачное сознание делается болезненно- и экстатически-чувствительным и начинает улавливать такие вещи, каких в выспавшемся и отдохнувшем виде не уловит никогда.

* * *

Средь чада, бульканья, шипенья

Чужая жизнь кажется осмысленной изначально и по определению (поэтому в чужую жизнь — в книги, в соцсети — отправляешься, и не прежде ли всего, ещё и за образцами осмысленности: как это люди делают смысл?.. как это им удаётся?..), а своя переживается в основном как только возможность осмысленности, притом такая, осуществление которой отнюдь не разумеется само собой. Она — нечто такое, с чем постоянно надо «что-то делать» (одна из моих первотревог, существующих ещё до формулировок, даже до осознания: с внутренним хаосом непременно, непременно нужно *что-то делать*. Перерабатывать в космос-порядок, и это — постоянный

процесс: остановишься — пропадёшь, засосёт). Но на самом-то деле это понятно: ведь собственную жизнь мы видим со стороны «сырья», её кухни, гари, пара, чада, булькания кастрюль и шипения сковородок, а чужую воспринимаем уже в виде более-менее готового продукта. Отсюда навязчивое чувство «гармоничности» чужой жизни, заведомо, изначально и непреодолимо превосходящей гармоничность моей собственной.

* * *

Прежде сказанного

Чем бы (Кем бы) ни было Существенное, оно наверняка даёт нам ощущать его и в действии, и в мысли (нашими мыслями не оно ли с нами разговаривает?). Другое дело, что в действии и в мысли человек может заглушать, «забывать» его голос в себе — собственным. Действию и мысли недостаёт тишины, слишком уж они тяготеют к монологичности (обладая, между прочим, большим диалогическим потенциалом). Но вполне представимы, кажется, и действие, и мысль как разновидности, формы тишины. Им совсем не обязательно быть крикливыми.

Что до общения межчеловеческого, мне с давних пор кажется, будто главное в нём — не то, что и как говорится, даже когда говорятся вещи самые важные, а некая подоснова всего произносимого и делаемого, которая существует в непосредственном чувстве (и которую, кстати, сознательными усилиями в конечном счёте не сделаешь — во всяком случае, очень похоже на то; хотя кое-что сделать всё-таки можно) и которая, в общем, может прекрасно без произносимого обойтись, а этим произносимым не создаётся и более того, как иной раз ни странно, не нарушается. Назовём её про себя «коммуникативным априори».

* * *

О матрицах опыта

Интересны смысловые последствия несмыслового вообще и в частности то, что, например, времена года или суток — это *матрицы опыта*, принципы — задаваемые природными ритмами — организации надприродного в нас.

* * *

Дома и Бездомья. Предчувствие весны

Весна — особенно ранняя, жёсткая — вспарывает защитную оболочку, которой человек успевает затянуться за зиму, делает нас вновь уязвимыми. Возвращает нам модель (непрерывно как-то выраженного внешне и непременно интенсивного) роста и самопревосхождения; модель прорыва, преодоления косности, по которой мы вольны строить что угодно. Или не строить ничего, никто не принуждает — но мучить нас невыполненная модель станет непременно. На манер незавершённого гештальта.

Предвесенний февраль с его нарастанием света — соби­рание внутренних сил для весны-прорыва.

Весна травматична. Весна — нарушение зимних устро­енностей, ре-хаотизация слежавшегося было космоса.

Весна — острый приступ актуального бытия (ответствен­ности перед бытием; мучительного чувства необходимости ответить на событие весны всем собой) после зимней затяж­ной потенциальности, упрятанности вглубь себя. Пора выхо­дить наружу.

Зима — дом (плотно, надёжно укрытый снегами), весна — бездомье. Она требует — для адекватного проживания её — скитальчества, неприкаянности. Опять-таки скитаться никто не принуждает, но, не сделав этого, мы останемся с чувством, что чего-то недопрожили. А потому и недопоняли.

Поэтому самое правильное весеннее действие — «бес­цельное» шатание по улицам. Наматывание на себя, как на стержень, новооткрываемых (даже если они уже давно и хо­рошо известны!) пространств. Активно-диалогическое сосу­ществование с ними. Весна — время переоткрытий, пере­смотра (желательно — радикального) своего, распределённого по пространству, символического хозяйства.

* * *

К генеалогии событий

Величина события — может быть, любой природы — измеряется величиной глотка воздуха, который при его про­живании входит к нам в лёгкие.

Не смыслами — смыслы потом (и эмоциональная проработка, пожалуй что, тоже потом), — а первичным АААх!... - распахивающим нас, раздвигающим наши душевные створки. Ещё до того, как мы зафиксировали, что, собственно, происходит.

Этот первовдох лежит в основе всей последующей работы по конструированию события — которая может быть и очень долгой, в том числе и размером во всю жизнь, — и направляет её.

* * *

Об адресованном

Есть чтения, от которых прямо физически чувствуешь, как нарастает душевное «мясо» — само по себе, до и помимо сознательных усилий. Есть тексты, за которыми хочется идти, независимо от степени их сложности, понятно, что не она тут определяющая. И даже независимо от степени собственной уверенности в том, придёшь ли, куда идёшь, — иной раз независимо даже от степени чёткости собственных представлений о цели движения. Достаточно доверять чувству, пусть недоказуемому (совсем не думаю, кстати, что всё на свете непременно должно быть доказуемо), согласно которому эта чёткость по мере движения будет всё более и более приобретаться. Пусть медленно — неважно.

Я уж не говорю о том, что есть и такие тексты, чтение которых это самое душевное «мясо» обдирает до кости, да ещё и саму кость захватывает. Чтение которых — насилие над собственным естеством, независимо от степени нужности и правильности того, что в них сказано. Есть чтения, попросту говоря, истощающие и наращивающие (должно быть, это ко всякому опыту относится, но я как раз из тех, кому ближе всего отношения с текстами). Скорее всего, различие между ними совпадает с различием между *адресованным* и *неадресованным, назначенным к проживанию* и *не назначенным к нему*. (Но это всего лишь метафора; не стоит допытываться, «кто» «назначил» и «адресовал», а тем более «почему». Речь идёт только о форме чувства — о попытке описать своеобразную настоятельность, с которой нечто, бывает, требует нашего внимания.)

Впрочем, думаю я и о том, что, может быть, нас как-то наращивает даже истощающий опыт: любой. Может быть, даже опыт убывания — это опыт прироста. К читательскому опыту это тоже относится.

* * *

Не поступайся ширью

«Храни живую точность: точность тайн».

Б.Л.П.

Чем дальше, тем всё ближе мне отношения с миром как со своего рода личностью, как с живым существом, а не как с совокупностью объектов. Чем дальше, тем больше вещей хочется — чувствуется адекватным и органичным — оставлять непонятными, непонятыми: думается, это разновидность доверия — не навязывать вещам/обстоятельствам/людям своих схем интерпретации (на что я была сильно гораздо в молодости), но не торопить их, позволить им самим раскрыться или НЕ раскрыться, как им будет естественнее. Тем отчётливее во мне чувство мира как тайны, которую «надо» — то есть адекватнее, точнее — не столько «разгадывать» и «истолковывать», сколько переживать именно как тайну, что, кстати, ни разгадке, ни толкованиям не противоречит: они побочные продукты такого переживания, но именно побочные. Причём связаны они с переживанием мира как тайны непосредственно и прямо: их не будет или качество их будет не то, если не будет такого переживания, задающего перспективу всему. (Не могу сию минуту этого объяснить, но и не чувствуется нужным.)

* * *

О неповторимом и повторяющемся

Некоторые вещи хочется — даже чувствуется нужным — прожить по крайней мере дважды. Так, как перечитывают книги, при каждом перечитывании находя в себе всё новые реакции на вроде бы знакомый (как линейка, прикладываемый для измерения) текст. Я бы завела нечто подобное для жизненных событий. Съездить в событие на машине времени и прожить его ещё раз, не просто вспомнить (и даже не просто на бумаге об этом написать) — этого-то сколько угодно, — но

прожить во всей чувственной полноте, во всём избыточном многообразии подробностей. Пусть даже не меняя в нём ничего (хотя с этим пунктом, признаюсь, сложно смириться, ну ладно, ладно, пусть не меняя). Просто прожить более полно, более тщательно, более внимательно, чем это однажды уже случилось «на самом деле».

* * *

О неуничтожимом

В конце концов к неудачам привыкаешь. В случае их неустраимости обживаешь их как «нормальный» (а хоть бы и без кавычек) режим жизни. Выясняешь возможную степень своей внутренней независимости от них.

Они не то чтобы увеличивают наше чувство собственного бессилия (ибо подтверждают его), но уточняют наше отношение к нему. Мало ли в чём я, в конце концов, бессильна. Ну, горы не могу двигать, погоду не могу менять, обращать время вспять. Живу же я *внутри* этого.

Неудачи (как режим жизни, особенно те, в которых мы не виноваты, а может быть, впрочем, и те, в которых виноваты) выявляют то ядро в нас (или заставляют его укреплять и наращивать, что тоже интересно), которое не уничтожимо никакими неудачами. А в случае нашей (бывает, что и неминуемой) виноватости в неудачах — ещё и то, что не уничтожимо никакой виной. (Мне кажется, *это* — самое труднонаходимое.)

* * *

Освобождение от биографии

Чем старше становлюсь, тем больше, оказывается, чувствую, какое счастье — наступление весны, просто прибывание весеннего света. Вдруг начинает чувствоваться, что это наполнение пространства светом — и раздвигание его границ вплоть до, возможно, бесконечности — само по себе свобода, совершенно независимо от наших личных обстоятельств.

Вообще, чем дальше, тем больше выступает на поверхность, тем отчётливее делается неважность этих самых «личных обстоятельств». Освобождение от биографии.

Возраст — нарастание внутренней тишины, в которой всё лучше можно расслышать мир, которому, в свою очередь, нет до нас никакого дела.

Возраст — это постепенное привыкание к миру-без-нас. Вростание в наше будущее отсутствие.

* * *

То, простота чего вызывает представления о величии

= Нарастание весеннего света в самой сердцевине зимы.

= Ночное летнее звёздное небо, когда лежишь под ним лицом вверх и долго в него смотришь.

= Свет и воздух позднего ноября перед снегом: особенные свет и воздух, с минимумом чувственных компонентов, почти уже на грани метафизичности.

Думая о том, что такое величие и чем оно отличается, если отличается, от гениальности, предположила, что в состав величия непременно входит «масштабность воздействия». Это было о людях, но, кажется, годится и здесь: величие всего названного — простого, ибо не разложимого на мелкие составные — в том, что воздействие его именно масштабно: оно берёт нас-целиком, без уточняющих обстоятельств, без психологических и прочих преходящих подробностей и обращает к миру-целиком, в его неизмеримо превосходящей нас мощи и значительности.

* * *

Книги — одна из опорных структур существования. В книгах важно прежде всего то, что они есть. С книгой, ничуть не менее умственного, важен и телесный контакт: пощупать, понюхать, ощутить тяжесть в руке, гладкость или шершавость обложки. То, что она даёт, важнее даже знаний, которые из неё можно вычитать, ибо — она условие их усвоения: книга, пока читается, даёт свободу от всего, что не она, создаёт вокруг тебя автономное пространство, задаёт тебе автономный ритм. Книга — интенсифицирующая приставка к человеку. Книга — кусок собственной параллельной жизни, которая «всегда с тобой», личный кислородный баллон, которым можно дышать в любых ситуациях: в метро, в очереди,

в ожидании чего бы то ни было... Она — жизнь, дополнительная к внутренней. «Нормальная» жизнь получается таким образом трёхслойной: жизнь внешняя — жизнь внутренняя — книга. Книга — между внешней и внутренней, принадлежит обеим, связывает обе (даже, я бы сказала, примиряет их — ну, во всяком случае, гармонизирует) и питает собой, увеличивает и интенсифицирует обе. Как ни странно, в ситуациях, связанных с напряжением, страхом, вообще — нарушением обычного порядка жизни (как раз в таких, в которых людям обычно совсем не читается), мне лучше всего, спасительнее всего — читать: это мгновенно и надёжно восстанавливает чувство порядка, смысла и своего рода даже защищённости.

Книга — это ещё и наш заговор с миром против всего ближайше-окружающего.

* * *

Культура тишины

Терпение — не-навязывание: позволение вещам, людям, миру, собственным чувствам наконец высказаться самим. Не договаривать за них. Сдерживание собственных, забивающих для внутреннего слуха все голоса, душевных и умственных движений.

Терпение — это культура тишины, внутренней, а вслед за тем и внешней.

Внимательность — внутренняя забота о предметах своих занятий. Сбережение их в пространстве своего взгляда и понимания. Внимательность — активная, направленная разновидность терпения: не просто позволение вещам высказаться, но вслушивание в их голос, сознательная настройка на это.

Внимательность — культура придания себе внутренней формы, соответствующей воспринимаемому.

Внимание с терпением — уважение к миру-без-нас, забота о нём.

...Вообще, есть что-то странным образом очень утешающее в том, что жизнь вокруг не сводится к моей собственной и намного её превосходит. Почему это поддерживает — и сама не знаю. Но держит, как морская вода.

* * *

В «любопытстве» как типе интереса к миру есть что-то непреходяще-молодое и несерьёзное, даже детское — подпрыгивающее от нетерпения, пальцем тыкающее, тыркающее: каково на ощупь? Немного без уважения к предмету, без пиетета перед ним (иногда, знаете ли, иерархии должны сниматься, предметы, чем бы они ни были, должны подвергаться испытанию рассматривания на равных). Есть в нём, конечно, и что-то мелко(вато)е, и поверхностное: среди обильной и разнообразной фауны познавательных отношений к жизни оно — из зверьков самых мелких (зато и из самых подвижных, юрких, гибких). Пока мы любопытствуем, мы молоды, легки и летучи.

* * *

Уют — интенсивно переживаемое соответствие с небольшим, чётко очерченным участком мира, эмоциональное — даже почти-соматическое — срастание с ним. Между прочим, уют — полноценная (я даже не уверена, что «младшая») разновидность счастья, поскольку счастье и есть переживание своего соответствия с тем, что чувствуется важным.

* * *

Из истории внутренней эстетики

Был у меня в жизни период — сейчас вспоминается, будто биографически — календарно — очень недолгий и связанный, хотя, наверное, не так уж и прямо, с первой любовью — чувства «обострённой символичности» происходящего. Всего происходящего вообще, вплоть до запахов воздуха, расположения предметов на столе, шагов по улице, слышных из открытого окна. Чувства того, что все события, положения, предметы — указания на глубокие соответствия жизни, на что-то несомненно более значительное, чем их физическая оболочка.

Почему-то особенно остро помню в связи с этим один момент, сам по себе решительно ничего не значивший: летом 1983 года поздним-поздним вечером, почти ночью, мы качались на качелях во дворе с группой людей, в которую остро значимый для меня человек априори не входил, так что дело не в этом. И вот этот момент — когда даже не велось, я это хорошо помню, никаких существенных разговоров, какая-то

необязательная болтовня, — с его ночными запахами и чёрным небом почему-то много лет неизменно (вот и сейчас) вспоминается как знак *того* состояния: «обострённой» и внутренне очень ясной, спокойно-несомненной «символичности». Того, что речь Бытия ко мне — несмотря на всю её символичность — не окольная, не иносказательная, а прямая.

* * *

Медленно и неправильно

Самая большая удача для слова в том, что существует несловесное. Для попыток понять, усилий построения теорий — то, что существует непонимаемое, недоступное, непокорное нашей власти, хотя бы только словесной и умственной в принципе.

Каждая победа, каждое отвоение у Неизвестного и Неподвластного очередного кусочка реальности — по сути поражение: у нас в руках оказывается маленький фрагмент Бытия вместо очередной раз ускользнувшего Целого.

Но тем самым всякое частичное действие получает неисчерпаемый ресурс, непрекращающийся вызов для собственного роста.

Целое всегда впереди. И, пытаясь дотянуться до него, создавая на этом пути множество преходящих, обречённых на забвение результатов, мы перерастаем себя и в конце концов начинаем подозревать: может быть, это и есть главный результат всех усилий?

Ага, человек — это то, что не имеет массы покоя. То, что её имеет, — не человек, а лишь одна из его оболочек и вполне может быть оставлено позади.

Мы всегда оказываемся в начале, сколько бы ни прошли. И это значит, что перед нами всегда — большие перспективы.

В повторяющихся поражениях — наша самая большая, самая неиссякаемая надежда.

* * *

Насколько чуждо и далеко мне всё южное и жаркое, настолько адресованно и точно — всё северное. Северный ветер — как раз мой, и лучше всего, если он пахнет северным питерским морем. Он, холодный, широкий и острый одно-

временно, правильно собирает и настраивает всё, дышащее им человеческое существо. В нём есть что-то, что, кажется, даже важнее свободы (а может быть — разновидность её): точность и ясность, прямота и сила, некоторая *сдержанная предельность* восприятия всего происходящего.

* * *

К психологии письма

...Что-то мне подумалось о том, что избыточное нагромождение скобок (особенно — разной конфигурации!) в пределах одного предложения, да ещё сложного (не следствие ли некоторого страха вырваться, наконец, за пределы предложения и оказаться в холодном, испытующем пространстве молчания?), навязчивое перегораживание его внутренних пространств — следствие явной потребности в защищённости: своего рода стремление укрыться в эти скобки, как в множественные материнские утробы, каждая из которых способна дать начало новой отдельной жизни. «Перегретость» предложения — страх перед холодом бытия. Перегруженность его — страх пустоты. Род, как ни странно, изнеженности. В этом смысле простота закаляет, как обливание холодной водой.

* * *

О смыслах редактирования

Вряд ли зарабатывание денег может считаться основным смыслом этого занятия, ибо их настолько немного, что они вполне могут быть сочтены его побочными продуктами. А к числу главных могут быть отнесены последствия коренные, такие, которые не исчезают никуда даже после того, когда работа сдана, опубликована и канула — как неминуемо и случается — в летейские воды, а деньги все истрачены и канули, значит, туда же. Так вот, это занятие воспитывает *чувство формы*: необъяснимое, как всякое чувство, оно вырабатывается едва ли не на любом материале, независимо от скорости его погружения в Лету, и, кстати, ощутимо помогает при написании чего-нибудь собственного. (Куда оно погрузится, излишне даже уточнять, но делать-то всё равно приходится). Вообще, даёт некоторый ресурс противостояния всепобеждающему Хаосу.

* * *

Поймала себя, среди прочего, и на таком внутреннем движении: вот-де предлагается, когда тебе плохо, помочь тому, кому ещё хуже. Но не будет ли это родом подмены, разновидностью бегства, эскапизма? Уходом от собственных задач ради того, чтобы — снимая своё внутреннее напряжение — решать чужие, тебе не предназначенные? Не будет ли это разновидностью паразитирования на чужих трудностях и в конечном счёте на чужих смыслах?

* * *

Мышление — человекообразующее действие и имеет этическую значимость едва ли не само по себе. Качество мысли создаёт качество человека.

* * *

Всякая работа — это ещё и работа с собственной эмоциональной составляющей: чтобы не мешала, не разрушала процесса (в идеале, конечно, хорошо бы, чтобы ещё и помогала, но это уж ладно, обойдёмся, главное, чтобы не мешала). Всякая работа — это ещё и (хм, для меня, наверно, прежде всего) настройка себя. Как инструмента инструментов.

* * *

О страхе

Страх — функция расстояния. Он буквально — измеритель расстояния между нами и Страшным: он — то, что заполняет это расстояние и в некотором смысле, может быть, даже *создаёт* его. Когда мы уже внутри Страшного, у нас со Страшным начинаются какие-то совсем другие отношения. *Некуда* бояться: расстояние схлопывается.

Как написала — а я не устаю цитировать — Цветаева, возвращаясь из Франции в отечество на верную погибель, «сейчас уже не страшно — сейчас уже судьба».

* * *

О неврозе смысла

Есть что-то, однако ж, невротически-навязчивое в стремлении непременно перерабатывать всю проживаемую мате-

рию жизни в «смысл». Есть в этом и некое нетерпеливое (да и эгоцентричное) недоверие и к жизни самой по себе, и к её смысловому потенциалу, который не обязательно сводится к тому, к чему мы готовы или в чём мы имеем потребность, хотя бы и самую насущную, и к досмысловому и пост-смысловому в ней.

Просто вслушиваться в мир. Просто вмалчиваться в него. Честное слово, больше ничего не надо. Или так: всё остальное пусть будет формами *этого*.

* * *

Читать себя

Пространствами мы играем на себе, как на вполне музыкальном инструменте: каждое пространство извлекает из нас определённую группу звуков, и в этом смысле разные пространства ни в коем случае не взаимозаменяемы. Пере-проживание уже исхоженных некогда пространств (очень родственное по смысловой структуре перечитыванию книг, должно быть, и повторным прослушиваниям музыки, но мои опыты с этим слишком незначительны даже для того, чтобы делать из них метафору) позволяет нам заново прожить уже связавшиеся некогда с этими маршрутами душевные движения и смысловые траектории, отшлифовать их, уточнить. Пере-проживание пространств — средства для перечитывания человеком самого себя. У первого, открывающего восприятия пространств и повторного их проживания — наверняка принципиально разные функции, причём повторное проживание — наблюдается многократно — способно быть существенно сильнее первого.

Изъятие «бесцельных» прогулок из жизни — под предлогом какой-нибудь, например, нехватки времени, хотя бы даже эта последняя и была истинной правдой — делает жизнь беднее на целый пласт и лишает нас чрезвычайно чуткого инструмента самовосприятия. Это настолько важно, что должно бы быть включено в план организации жизни (я, к сожалению, без планов, хотя бы и не выполняемых или не вполне выполняемых, разваливаюсь) на правах жёстко-обязательного пункта.

Это я к тому, что уже скоро совсем-совсем стает снег, и не заниматься перечитыванием пространств и себя — особенно после зимнего перерыва — станет попросту преступным: как всякое упущение существенного.

...И ещё: когда человек «просто так», без практической цели (хотя настройка себя — чем не практическая цель?) ходит по улицам, он оказывается немного вне времени, вне своих конкретных обстоятельств. Это — совсем немного, но всё-таки опыт бессмертия. Как, может быть, всякая бесцельность.

* * *

«Хочу» и «должен»

Среди многочисленных категорий, на которые неминуемо делятся люди, явно есть и вот какая: те, кто формулирует свои планы в терминах «я *хочу* сделать то-то», и те, кто предпочитает термин «я *должен* сделать то-то». (Я несомненно отношусь к последним.) Те, для кого, соответственно, «хочу» или «должен» оказывается более убедительным и более стимулирующим — в том числе во втором случае и тогда, когда «должное», включая должное как таковое, вызывает внутренний протест, тоску и сопротивление. Сопротивляешься, тоскуешь, а всё равно делаешь, потому что это *убедительнее, весамее*, а в «хочу» есть что-то по определению необязательное.

Сразу стоит заметить, что к качеству выполнения планов, к степени обязательности в следовании им это может иметь лишь очень косвенное отношение или не иметь вовсе никакого.

Задумавшись о природе и источниках чувства долга — того самого, которое способно вступать в конфликт со всякими «хочу» и мучить своего носителя, поймала себя на мысли о том, что источник его — чувство *целого*: мира как целого и своей жизни в единстве с ним. Мне чувствуется, будто, если я не выполню того, что кажется мне (неважно даже, насколько обоснованно) своим «долгом», я тем самым нанесу ущерб цельности мира, его гармонии, если угодно. Сию минуту я не слишком готова это обосновать, просто выговариваю чувство для пущей ясности.

Из комментариев к книжной ярмарке

Книги, конечно, синонимичны счастью. И всем его составляющим: полноте жизни, её интенсивности, внятной, упругой структурированности и одновременной с нею — во все стороны расширяющейся — свободе. Ну и эйфории, конечно, да как же без этого. И убедительнейшей иллюзии бессмертия, это обязательно.

Это почему-то остаётся неизменным независимо ни от каких обстоятельств. Ни от состава и объёма книжной ярмарки, ни от того, что с возрастом неминуемо меняются стратегии в отношениях с книгами. Ещё относительно недавно я скупала всё интересное подряд, а теперь отчётливо не только предпочитаю, но даже отождествляю с (неизменно возжеленной) *полнотой жизни* прицельное, направленное, концентрированное чтение с, увы, отсеканием (о да: часто насильственным и нередко болезненным!) тех тематических ответвлений, в которые — в силу краткости жизни — мне, скорее всего, уже не суждено полноценно и плодотворно углубиться. Многие сегодня провожала взглядом с мысленным комментарием: «Этого я уже не успею». Исчезло чувство и неисчерпаемости времени, и — даже — просто его обилия.

В отношениях со временем начинаю жадничать. Постоянно ловлю себя на внутренних движениях типа: взявшись читать книгу А, я тем самым отниму время у книги Б, которая, с известной вероятностью, его более достойна. На чувстве необходимости экономить время — как драгоценный материал — и торопиться. Торопиться сделать что? Даже не плодов наоставлять: этого я наоставляла изрядно и, видит Бог, без всякого кокетства, не чувствую в этом ценности, даже если (чего исключать никогда нельзя) для кого-то это оставленное сможет оказаться ценностью. Оставленное — сброшенная кожа: оно уже не моё, хотя с известной вероятностью сохраняет мою форму. Я даже отвечать за него не отказываюсь, всё равно не моё: не держит в жизни, не это держит. «Своё» — то, что в жизни держит. Может быть, то, что, в отличие от оставляемых плодов, не результат, а процесс, что-то такое, что всё время воспроизводится. Так я о чём? Торопиться, чувствуется, «надо», пожалуй (да не знаю я, не

знаю, «зачем») — как можно точнее и внимательнее, полнее прожить остающееся время. (Опять же решительно не знаю, «зачем»: на тот свет-то я его не заберу с собой. А вот вести себя хочется так, будто заберу. Будто действительно поволочу с собой в непредставимое странствие свою, выделанную здесь форму, и она мне в этом странствии поможет, поддержит меня.)

* * *

Из заметок убывающего

И вообще замечаю, что с годами, с сокращением предстоящей жизни счастья в ней делается, как ни странно, не меньше, а больше. То, что в размашистой молодости (и это при всей-то выпуклости тогдашнего восприятия!) проскакивало незамеченным или не воспринималось как ценное, вызывает нынче благодарность и внимание. В каждую крупинку жизни хочется всматриваться. и каждая крупинка жизни — буквально каждая — светится.

Отчасти — но только отчасти — это похоже на восприятие раннего, ещё дошкольного детства, когда каждая мелочь была самоценной и, созерцаемая (медленно, медленно), разбухала до размеров хоть целого мира. Но в детстве самоценные подробности вытесняли мир, а теперь он не перестаёт чувствоваться как целое в каждой своей детали.

* * *

Межчеловеческое

Среди многообразия типов человеческих отношений есть и вот какой: достаточно знать — уверенно знать, а тем самым и постоянно чувствовать, — что человек *есть*. Достаточно для полноты жизни и, что-ли, правильного распределения её напряжений, для точного (и уютного, однако) её собирания, а если угодно, и для счастья — но, пожалуй, и необходимо для этого. С человеком, обладающим таким типом значимости, можно общаться крайне редко, а то не общаться и вообще никогда. И всё равно он будет входить в состав жизни одной из самых-самых существенных составляющих, вынь — и всё станет другим. Сказала бы — «и всё рассыплется», но всё-таки, думаю, нет, вряд ли: наверняка найдутся, должны найтись

другие собирающие и удерживающие силы. Но всё-таки конфигурация собранного будет уже непоправимо другая.

* * *

Перечитывая весну

Переживание повторяющихся времён года — как перечитывание старых записей: собственных, собственных, ну или, на худой конец, старых, только нам предназначавшихся писем: ведь каждое время года с его запахами и прикосновениями ветра адресовано лично нам и никому другому, каждое — точно воплощает наши личные смыслы, тревоги, надежды, предрассудки. Весна лишь притворяется, будто она одна на всех — так, для понятности. Ну, может быть, ещё для того, чтобы люди не спорили и не завидовали друг другу хотя бы из-за неё — они себе и так придумали для этого предостаточно поводов. А на самом-то деле она у каждого собственная и каждому — вся целиком.

И, точно как при перечитывании, всякий раз обнаруживаешь нечто прежде не замеченное: в себе ли, в тексте ли. Повторение времён года — самопорождающийся текст, он всё время порождает собственные смыслы, так что перечитывание его — никогда не повторение (даже когда точь-в-точь так же, как прежде), но всегда — открытие.

* * *

Вот если осень с зимой возвращают нас к себе, закрепляют нас на собственных основаниях, то весна даёт нам чувство — неважно, насколько обоснованное, важно и достаточно, что оно есть, — нашей пластичности, нашей предназначенности переменам. Весна сообщает нам — всей собой, уже одним своим явлением, — что мы можем быть какими угодно и никогда не знаем, какими мы будем. Само вдыхание весеннего воздуха — уже опыт безграничности. Чувственно-убедительной безграничности.

И, что самое удивительное, это почему-то совершенно не страшно.

* * *

Господи, да если бы мы просто вслушались, как следует в полноту обращённой к нам речи мира, рассмотрелись и

вчувствовались во всё богатство его оттенков, мы бы уже были совершенны.

Разве можно видеть весенний свет, разделять его существование — и не быть совершенным?! Ну только если обладать особенной глухотой и упорствовать в косности.

Мир «требует» от нас внимания. Развёрнутости всего существа навстречу ему. Только и всего.

Правда, это простое, всеохватывающее действие-состояние почему-то очень трудно.

* * *

Конечно, и в весне есть что-то от бессмертия, ага.

В мире вообще рассеяно — именно рассеяно, как будто Господь невзначай разбросал, — столько свидетельств и «малых опытов» бессмертия, что мнится, если бы человек их все, как следует, собрал, он *стал бы* бессмертен.

* * *

О счастье и цельности

А ещё, пожалуй, самые счастливые, самые «правильные» и самые сильные состояния — те, в которых взаимодействуешь с миром во взаимопроникновении, согласии и взаимосоусиливающем единстве своей умственной, эмоциональной, душевной и чувственной составляющих — вплоть до их, пожалуй что, неразличимости. Обычно ведь они так и норовят рассогласоваться и вытеснить, «преодолеть» одна другую. У меня по крайней мере всю жизнь норовили — особенно умственная составляющая старалась за счёт прочих. И вот, на пороге убывания и даже, пожалуй что, в его начале приходится открывать, что любая составляющая нашего существа тогда и сильна, когда поддержана всем остальным.

* * *

К антропологии вещи

Среди многих свойств и признаков, которыми характеризуются люди, наверняка есть и вот какой: тип отношений с предметами, характер обращения с ними. Степень нашей потребности в вещах и характер этой потребности многообразно различны и должны бы быть описаны в рамках проекта «Антро-

пология вещи». Грубо и в первом приближении говоря, есть, например, люди, которых вещи *держат* в жизни (то есть буквально держат: настраивают на жизнь, не дают, в некотором смысле, умереть), и есть те, которых не держат. Есть люди, чувствующие через вещи метафизические аспекты бытия, и есть, напротив, те, у которых вещи эту восприимчивость заглушают. (Чувствую себя принадлежащей к первому типу. Сейчас. А в молодости принадлежала скорее ко второму. Из чего следует по крайней мере то, что принадлежность к типам этого рода способна меняться.)

* * *

Без названия

«О, как на склоне наших лет / Нежней мы любим и суеверней», — это ведь не только к людям, это и к миру относится.

Впрочем, люди — сгустки мира.

* * *

Сбрасывая кожу

В начале жизни (и до вполне недавних пор — значит, начало жизни кончилось недавно?) я думала, даже была уверена, что если человек что-то такое написал — особенно хоть сколько-нибудь значительное, — то это написанное увеличивает его самого. Буквально: становится «усиливающей приставкой» к человеку, от чего сам человек становится крупнее, интенсивнее, сложнее (а того, дескать, и надо: сложность увеличивает богатство восприятия).

А вот теперь начинаю думать, что всё написанное — чем бы оно ни было, хоть собственным дневником — живёт своей жизнью. Ему нет до тебя дела, оно не узнаёт тебя в лицо. Может быть, никто так не близок к «голому человеку на голой земле», как много написавший: он всё время сбрасывает с себя шкуры, о каждой вновь сброшенной шкуре опять и опять подтверждая себе, что она — не он.

А вот что остаётся? Остаётся ли что-нибудь? Может быть, ничего и не остаётся?

* * *

О вине и гордыне

Думала сегодня среди прочего и о том, что склонность брать вину и ответственность (в моём случае, особенно, вину: ответственность в модусе вины) на себя — это ещё и недоверие к партнёру /-ам по общению / взаимодействию — как бы отказ им в человеческой полноценности и полноте, в полноте участия в ситуации. Это род гордыни. Если «во всём виновата я» — значит, в некотором смысле, «я тут главная», «это я определяю происходящее — а вы, дорогие мои, в своей невинности, простите, пешки».

* * *

Жить наугад: из заметок к этике существования

(скорее, к его пластике. Она, впрочем, — неизбежно этична.)

...Жить наугад: не вслепую, о нет — но превратившись в чувствилище, улавливая тонкие токи мира (и смысла) и следуя им ещё до того — или без того, — как это следование будет объяснено или обосновано «логически».

Среди важнейших внутренних событий, определивших мировосприятие второй половины жизни, — открытие (на уровне личного переживания) принципиальной вторичности (и в конечном счёте некоторой необязательности) «логичного» и «логического».

* * *

Что-то от счастья

Удивительно, как на слова, вполне вроде бы нейтральные, налипают крупинки личного, вполне вроде бы случайного опыта — и преображают их. Так для меня слово «правление» применительно к даче (но только применительно к ней: правление дачного кооператива — слово, в свою очередь, колкое, пузырчатое, щекочущее-щиплющее нос, как газировка) устойчиво пахнет дымом, хвоей, влажным холодным воздухом. И ещё — глинистой дорогой, развезённой дождями, которую преодолеваешь с усилием: она сопротивляется ногам. И в этом сопротивлении чувствуешь, как под ногами проворачивается земля. «Правление» — медленное слово, влаж-

ное и важное. Блестящая кора дерева — непременно хвойного, лучше всего сосны (она добрее!) — после дождя. Как *серьёзно* было всё в детстве. В детстве всё имело отношение к сути вещей, честное слово.

Всё-таки в детстве — в самом состоянии детства, в самом факте начала — было что-то от счастья.

А на самом деле «что-то» от счастья есть в самом состоянии жизни.

Детство было хорошо тем (да что «было»! Оно-то, кстати, *есть*, как мало что другое), что оно — концентрированная жизнь. Самый-самый, исходный концентрат жизни, который мы потом всю жизнь разбавляем, разбавляем, разбавляем... А он всё не кончается и не бледнеет. Его много даже в самой маленькой крупинке — он весь там.

Жизнь голографична, ага.

* * *

К персональной антропологии

А ещё среди человеческого многообразия выделяются, пожалуй, вот какие виды: те, кому для качества сугубо смысловых процессов просто необходимы яркие, разнообразные и сильные чувственные впечатления — даже не как катализаторы, а как прямо-таки материал и чуть ли не сам инструмент мышления, и те, кому, наоборот, для качества и чистоты мышления необходимо от всего чувственного абстрагироваться.

Я, похоже, отчётливо принадлежу к первым, хотя в начале жизни была почему-то уверена, что ко вторым.

А что делать в ситуации, когда ярких-сильных-разнообразных впечатлений недостаёт и способов добыть их, предположим, в обозримое время не предоставляется? Их можно вообразить. И получается, надо сказать, ничуть не хуже, чем при работе с настоящим, диким и сырым материалом. Ну, во всяком случае, немногим хуже.